

I

3 марта

Подобно тому как вакханки, о которых Плутарх рассказывает, что среди своих скитаний они уснули на площади во вражеском городе, пробуждаются, когда вытрезвилось священное исступление, и видят, что окружают их места чужие и неблагосклонные, так и я, дорогой Fl., словно обуянный божеством дружбы, озираю края, в какие оно меня занесло, и сопоставляю свою дерзость со скудостью средств, из коих придется за нее расплачиваться. Вы хотели от меня рассказа — я обещал его и не могу взять обещания назад; но, чтобы в этой просьбе не начали поневоле раскаиваться и Вы, вооружитесь снисходительностью, ибо доселе не изыскано лучшее средство получать удовольствие от чужой бездарности.

Начну с того, что я никак не предполагал, что в этой части реки могут быть такие здания: мне казалось, я все здесь знаю. Солнце выбивало из-за южной угловой башенки. Я представил, как деловитые сельские дети, осененные прибрежными отрогами этого замка, забрасывают поплавки в его

дробящееся отражение и как крючок с крутящимся червем сквозь стрельчатые окна погружается туда, где в стеклянной мгле какие-то гулкие фигуры натягивают арбалетную тетиву. При всем старании я не мог бы оценить возраст этих построек с точностью до столетия: они могли быть впавшим в детство гнездом древнего греха или его почтительной имитацией в границах, проведенных между внушительностью и удобством романами ужасов и слабостями хозяев. Миновав въездные ворота, я прошел мимо изваяния, чей наряд был призван обозначать варварскую роскошь, а поза — предосудительные намерения. Мужчина, которому академический резец подарил все, что было ему известно о неумении сдерживать страсти, простирал за чем-то руку, опираясь другой на крошащийся постамент; между ее судорожными пальцами проросла полынь — аллегория тем более трогательная, что ваятель ее в счет не поставил. Я вспомнил скульптора, которого моя тетя Агата наняла создать себе надгробный памятник, полагая, что разум и вкус должны умереть с нею вместе, чтобы не быть неблагодарными той, под чьим кровом они всегда могли рассчитывать на радушный прием. Ее решимость войти во все детали работы была связана с возлагаемой на изваяние ответственностью хранить ее черты до того момента, когда восстание тети Агаты из мертвых позволит службе ее поверенного под кладбищенской рябиной, между двумя артиллерийскими

полковниками, завершиться согласно предварительным условиям. Главным требованием тети было начертать в ее лице прижизненную победу духа над плотью, с такой ясностью, чтобы посетители обоих полковников не могли питать сомнений. Скульптор предполагал отобразить эту идею, придав тете Агате некоторые признаки тропической лихорадки, и с помощью нескольких номеров «Объединенного медицинского вестника», где публиковались ведомственные кроссворды с иллюстрациями, ему удалось объяснить, что он имеет в виду. Она протестовала вследствие спорного убеждения, что рекомендуемая болезнь развивается лишь на почве длительного и систематического беспутства, не оставляя в смысле этиологии никаких лазеек серьезному человеку, а кроме того, недостаточно подчеркивает линию рта — следовательно, не оправдывает нравственных издержек на ее приобретение. Меж тем я настолько приблизился к стенам, скрывавшим частное бытие семейства Эренфельдов, что заметил нацарапанную на дымных камнях разборчивую непристойность, указывающую верхний уровень, до которого дотягивалась предприимчивость местной молодежи. Угрюмые люди, ухающие арбалетными жилами в угловой башне, снова вспомнились мне, и я подумал, что, будь они на прежних местах у бойницы, этот добросовестный ученический цинизм имел бы менее случая расписываться в своих предпочтениях. — Впрочем, где-то же здесь есть то,

что называется мертвым пространством. Ни одна крепость, даже обитаемая Эренфельдами, в этом смысле не выключена из обыкновений естества. Человек, достигший какой-то невидимой точки, стоит невредим среди ливня кипящей смолы и каменных ядер, сосредоточенно выбирая из своего запаса непристойностей ту единственную, которой следует украсить стену в данных обстоятельствах.

Звонка не было; я три раза стукнул в дверь медным молотком, со смутным ощущением нелепости, и вот дверь приоткрылась и из внутренней темноты показалось лицо в тяжелых оперных складках: если бы владелец расправил их, то, вероятно, мог бы какое-то время продержаться в воздухе. Я с готовностью признал в нем дворецкого. Это они в подобных домах таятся за дверьми, поджидая случая спросить прищельца об обуревающих его желаниях. Психоанализ составил им сильную конкуренцию, но полностью не вытеснил. Он подтвердил мои предположения, спросив, что мне угодно. Я довел до него, что приглашен бароном фон Эренфельдом к обеду, показал телеграмму за подписью барона, сообщавшую о его желании преломить со мною хлеб, и с удивлением увидел в лице дворецкого что-то похожее на неловкость. Обычно я добиваюсь этого выражения от людей, уже какое-то время находясь за столом, поэтому я машинально оглядел себя, чтобы удостовериться, не начал ли я есть рыбу ножом прямо здесь. После некоторой запинки, ободренный моей обычной

благожелательностью, которую я пользуюсь случаем свидетельствовать Вам и Вашему семейству, человек в дверях произнес следующую удивительную речь:

«Господин барон ждет вас, г-н С., однако предварительно он поручил мне решить один вопрос, который можно было бы назвать деликатным. Дело в том, что господин барон чрезвычайно щепетилен в отношении людей, переступающих порог его дома, и для него нестерпимо подозревать, что его хотя бы в малейшей мере могут вводить в заблуждение. Никакой документ не свободен от недоверия. Господин барон сказал так: “Я нахожусь в том возрасте и положении, когда причуды можно позволять себе с большим или меньшим равнодушием к общественному мнению, если не боишься потерять к ним вкус; но в нынешнем случае мне меньше всего хотелось бы, чтобы наш гость счел оскорбительным небольшое условие, на котором, однако, я вынужден настаивать”. Ему стало известно, что г-н С., то есть вы, отличается несравненным умением шевелить ушами. Он хотел бы, чтобы вы продемонстрировали это умение в моем присутствии, прежде чем он будет счастлив оказать вам гостеприимство. Он призывает вас рассматривать это не столько как свидетельство вашей идентичности, сколько как знак доброй воли».

Тут я невольно отступил на шаг и поднял глаза на громоздкий фасад, смотревший на меня темнотой горящими окнами между косыми тенями лопаток и пилястр, а потом пожал плечами и попросил

удивительного дворецкого быть готовым. Плохо, когда люди пропускают начало, а потом толкают соседей, переспрашивают, что было, и портят всем впечатление. Сначала я чувствовал себя немного скованно, как всегда бывает, когда работаешь с незнакомой аудиторией, но потом разогрелся, и полагаю, что сумел завоевать симпатию.

«Я думаю, — сказал наконец дворецкий, — г-н барон будет более чем удовлетворен. Я тотчас же отчитаюсь ему во всем увиденном». Я сдержанно заметил, что подумывал выступить с этим в Кашмире, однако в сезон дождей там принято предаваться коллективной скорби, а потом спросил его, где тут у них мертвое пространство. Нимало не удивленный этим вопросом (видимо, у них есть какие-то профессиональные курсы эпикуреизма; мне следовало бы их пройти), указав на лоснящиеся среди травы изваяния, чья ломаная череда напоминала, как «рассчитанной жертвой черного коня г-н NN добивается тактического преимущества, которое сумеет реализовать на 38-м ходу, на правом фланге, сопровождаемый слоном и аплодисментами публики», дворецкий сказал, что если я побегу от въездных ворот, как он мне советует, и буду иметь счастье достигнуть изваяния Доверчивости (приобретено в 1888 г.; на правом бедре имеется неразборчивая надпись рукой Винкельмана), то в моем распоряжении будет некоторое время, чтобы собрать штурмовую лестницу и соразмерить свои намерения со средствами. Тут мы вошли в дом.

За счет темноты он казался внутри пространнее, чем снаружи, что имеет выгоды, если хочешь заблуждаться относительно пределов своей власти, а сквозняк, потянувшийся вдоль щеки, дал понять, что в недрах этого сооружения раздолье для молодых девиц, на чьих лицах печать дурных предчувствий выглядит особенно эффектно, озаемая немного снизу дрожанием свечи. В высоком холле на квадратных столпах были вывешены звериные головы, сходные с бюстами стоиков в библиотеке и подобно им говорящие об огорчительных перспективах загробной жизни; сумрак налагал на всех них одинаковое отсутствие цвета, и в их глазах загостились лесная луна, в направлении которой они некогда заявляли свои однообразные притязания. В этом вертограде, подверженном моли, хозяин рассаживал свои воспоминания, отбирая самые выносливые, чтобы бродить меж ними, пока старость не ограничит его попечений рубежами его собственного тела. Мы поднялись по широкой итальянской лестнице, выдававшей сравнительно недавнюю перестройку дома, и двинулись галереей; от темноты я едва не проглядел три картины, висевшие в ряд на стене. Присутствие первой обличалось лишь мерцанием рамы, в пределах которой могло безнаказанно совершаться что угодно, пока природа не дала живописи сопровождать ее происшествия приличными звуками. Пользуясь общим правом колонизировать темноту по своему усмотрению, я решил, что невидимое

полотно изображает зверей, глядевших на меня в холле с высоты, на которую их воздело охотничье тщеславие; что художник поднял их на прежние ноги из кровавого папоротника, где баронская свора грызла им печень, и прогнал обратно в лес до того момента, когда темнота, универсальный растворитель, придет смешать их воедино — если только, подумал я, эта тьма не является частью их природы и они не носят ее с собой, как дурную привычку, чтобы было чем занять себя в незнакомом месте. На следующую картину падал свет из двери, так что можно было разглядеть, что это портрет, по видимости, кого-то из бывших Эренфельдов. Тяжелые меха, в которые он был облачен, говорили о пристрастии к роскоши, а блеск панциря под ними — об умении снискать сию последнюю. Косвенный свет ложился острыми бликами на его зрачки. Третью картину было видно всего лучше. Написанная в грузном стиле театральных декораций, когда, кажется, вот-вот, отдернув небо, на авансцену выйдет хор из «Седекии» и затянет «Иди навстречу победе», она изображала апофеоз рыцаря. Опираясь на бурную пустоту коваными локтями, он глядел, словно с одра болезни, на землю, где стремительно убывала его тень, между тем как свившийся смерч из херувимов всасывал в волокнистые небеса его бессмертный дух в горящих латах. Покинутое рыцарем поприще изображалось пустыми каменистыми берегами, напоминающими Эресунн. Я хотел осмотреть

картину не торопясь, тем более что у стены напротив стояла софа, выполненная в том же стиле апофеоза, но мой провожатый, отворив какую-то дверь, пригласил меня войти: позвольте же мне, дорогой Fl., меж тем как я следую его приглашению, оглянуться на Вас и сказать вместе с Ариосто:

Non più, Signor, non più di questo canto;
ch'io son già rauco e vo' posarmi alquanto —

моя история только начинается, и я должен расходовать свои способности осмотрительно, если не хочу, чтобы они истощились раньше срока.

Теперь к делу. Что касается употребления *lychnus* у Вергилия, то я мало что могу прибавить к совершенному согласию как с Вашими соображениями в целом, так и со всеми доводами в их пользу. Нет спора, что значение любого из гомеровских гапаксов устанавливается не только благодаря анализу соответствующего места (часто не приводящему к ясному результату) и схолиям (часто разноречивым), но и усвоению его позднейшей традицией. Мне кажется, Вы мало внимания уделяете пассажи в пятой книге «Природы вещей», где *pendentes lychni* открывают роскошную картину дымного и горького освещения, пленяющую Лукреция своим трактирным *chiaroscuro* до того, что он забывает о скучном тягле философа. Кроме того, мне показалось странным, почему Вы пренебрегли тектоническим акцентом, связанным

с pendere и его производными, о котором, однако, не забыл Фортунат в элегии о несчастной Гелесвинте, где рассказ о чуде с рухнувшей люстрой начинается: Dum pendens lychnus etc.; Вы найдете этот эпизод в издании Лео на стр. 144. Пожалуй, это все, что я могу прибавить.

Мой сосед в настоящую минуту идет на почту — и это письмо препоручает его заботам, чтобы самому не выходить в снегопад, и желает Вам неизменного благоденствия

преданный Вам *Квинт*.

II

9 марта

Дорогой Fl.,

«Гордость и смирение колоний» Макинтайра я возвращаю с благодарностью и надеждою, что у меня будет случай обсудить эту книгу с Вами при личной встрече. Передайте также мой поклон Вашей сестрице, чей почерк я узнавал на полях, и скажите ей, что я совершенно согласен со всеми ее замечаниями, включая самые неблаговоспитанные, и что цветок желтого донника (*Melilotus officinalis*), засушенный ею в главе о сицилийских заказчиках Пиндара, я оставил себе, руководствуясь тем соображением, что слава Пиндара в сухих садах не нуждается.

Ваша просьба продолжать рассказ заставляет меня серьезней посмотреть на мой писательский дар. До сей поры я пренебрегал им; но, возможно, когда мне уже не удастся скрывать неспособность к честным занятиям, я обращусь к этому поприщу и заработаю «больше, чем два софиста вместе», как говорит Гиппий.

Итак, в комнате, куда ввел меня дворецкий, у окна стоял человек, в коем, когда он обернулся

при нашем появлении, я с удивлением узнал Филиппа Н. — Вы помните Филиппа. Не знаю, говорил ли я Вам, что мы с ним были знакомы с детства, когда в людях еще слабы понятия о миролюбии. Родители часто отводили его в гости к дяде, г-ну ***, чью рассеянность было условлено считать кротостью, как делают сочинители похвальных слов, ссужая описываемые ими качества именами ближайших к ним добродетелей. Этот человек посвятил ресурсы своего кошелька и остроумия собиранию пазлов — забава, в древности носившая уместное название «битвы с костями». От обычных приверженцев этой секты его отличало недоверие к сопроводительным картинкам. На ранних стадиях своего увлечения он пришел к выводу, что подлинно развивающие цели можно преследовать лишь ценой отказа от этого униженного итинерария по поверхности вещей, и раздирал картинку в клочья, отворачив от нее лицо. Спалив таким образом свои корабли, он углублялся в область чужого гения на несколько недель пути, не упуская случая продемонстрировать, что пойдет на любые жестокости, какие подскажет ему эстетическое наитие. Вершиной его собирательства стала история с «Искушением св. Антония». Он возился вокруг него три с половиной месяца, забыл обо всех обязательствах перед обществом, ничуть от того не пострадавшим, трижды приступал к делу заново, смешивая свой сардонический пасьянс, сотрясал стены своей кельи

то горькими жалобами, то взрывами ликования и наконец сумел выгадать из груды картонных кружев вполне удовлетворительную «Афинскую Академию». Главный герой большей частью был перелицован на плащ Аристотелю, неприятного вида птица на коньках после небольшого насилия доставила отличный повод для Эвклида (дядю лишь немного удивило, что его циркуль не такой прямой, как прежде), а пожар, устроенный нидерландским мастером на задах мероприятия, достался всем членам академии поровну, заложив основу неподдельного интереса к познанию, который читается у них в глазах. Из того, что не было востребовано академией, он тут же, не переводя дух, принялся складывать «Завтрак на траве» и почти собрал левую пятку и лаковую черешню на юго-юго-запад от нее, когда картонки вдруг кончились; и этот человек, сам себя лишивший возможности узнать, какой триумф он справил над силами зла, выходил из дому, чтобы известить, что нового случилось в мире остальных четырех чувств, которые проказили как могли, пока он диктовал законы разума впечатлениям глаз. Займись он частным сыском, можно только гадать, какой предстала бы ему картина преступления, деталями которой были труп полковника в буфетной, лыжи со следами губной помады и попугай, восклицающий при появлении коронера: «Я хочу признаться во всем».

Попадая к нему в гости, Филипп без промедления отправлялся в обширный сад, примыкавший

к дому. Потребность г-на *** переставлять наличные элементы действительности навеки замкнулась в недрах его жилища — иначе население окрестных домов походило бы на серию эскизов к жанровым полотнам или на первоначальную жизнь по Эмпедоклу, когда всюду ползали неприкаянные руки, человеческие торсы венчались бычьими лбами, а женщины пользовались более богатой оснасткой, чем теперь, — и сад, покинутый на свое усмотрение, с равнодушной щедростью предоставлял в распоряжение одинокого мальчика свои одичавшие прелести. Разбитый в те лета, когда искусственные руины уже вышли из моды, сад к тому дню, когда в его калитку, распещренную бурыми чешуйками краски, впервые вошел Филипп, с избытком вознаградил себя, источив и раскрошив все, что возводилось с иною целью, нежели показать прозорливость природы; и в то время как г-н ***, запершись на ключ в своем кабинете, заносчиво оспаривал победы чужих дарований, его племянник завороченно созерцал останки стройного замысла среди кривых ветвей и в тупике закосматевшей аллеи.

В один прекрасный день, гуляя без цели, он вышел сквозь яблоневые дебри к залитому солнцем фонтану «Самсон». Тихое урчание каменного льва, более мирное, чем можно было ждать при его сюжетной участи, очень удивило мальчика, а пошевелив сухой веткой в его шершавом зеве, он узнал, что безмятежностью этих напевов лев обязан скрытому в нем осиному гнезду. Способ, доставивший

Филиппу это знание, еще две недели отличал его лицевой угол от принятого в обществе; потом молодость и содовые компрессы сделали свое дело, однако созерцание льва, фонтанирующего осами, стало для Филиппа ранним, но особенно ярким опытом из тех, что заставляют задуматься над непринужденностью причинно-следственных связей; в частности, если бы кто-то утверждал перед ним, что из сильного всегда выходит сладкое, он не позволил бы строить на этом основании дальнейшие рассуждения.

Я вторгался туда из-за высокого забора в обществе нескольких мальчишек. Нам было по восемь лет, и в сердцах у нас разборчиво читалось рвение к любому греху, способному доставить уважение среди знатоков. Наш гомон оглашал качающиеся дебри. Задрав голову, Филипп смотрел, как мы ссыпались с небес, чтобы предать этот тихий уголок разграблению, и готовился его оборонять, потому что, принятый в этом саду, считал, что берет на себя ответные обязательства. Его угрожающая поза и речи, исполненные высокомерия, заставили нас приостановиться, пока кто-то не пресек удивления, подбив нашему противнику правый глаз метко пущенным и очень жестким яблоком сорта «Прах Анхиза». Впоследствии, когда мы учились в университете, Филипп приписывал мне честь этого броска, а я не мог от него отречься, смутно помня тот день, когда в нашей толчее под яблонями, освещенными закатом, «гибла, смешавшись, доблесть», как говорит поэт, и все руки были общими.

Мы оба были удивлены встрече. Каждый из нас достаточно знал об играх приличия, чтобы наша радость выглядела достоверной, однако смущение от мысли, что за несколько лет, протекавших с окончания университета, никто из нас не шевельнул пальцем, чтобы оживить дружеские связи, читалось на лице Филиппа точно так же, как, вероятно, и на моем. После первых десяти реплик, которые можно было бы процитировать без указания говорящего, пришла ожидаемая неловкость. Тут Филипп справился о Вас: давно ли я с Вами виделся и не знаю ли, как у Вас дела. Я в сердце своем благословил его находку и сказал, что, должно быть, у Fl. все хорошо: он ведь написал роман. Филипп спросил, читал ли я его; я отвечал, что не вполне в этом уверен, а он заметил, что, по его мнению, всегда можно сказать, читал ты роман или нет. Тогда я объяснил Филиппу суть дела: а именно, что в романе есть эпизод, когда Эдуард говорит за чаем, что у него из головы не выходит обыкновение современных историков характеризовать Генриха III как импульсивного, склонного к энтузиазму и лишенного чувства политической реальности. И потом, когда Эмилию нашли мертвую в зимнем саду — ничком, среди орхидей, — я сразу подумал, что автор позаботился, чтобы наши подозрения не пачкали людей, которые ничем этого не заслужили. Конечно, автор поступил благородно, с такой решительностью отводя подозрения от дворцового — он же на четверть шотландец,

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru